

НИКОЛАЙ КРУПИН



БЕГИ, ДЕД, БЕГИ!

РАССКАЗЫ

ОКУНИ

1

Если в нашем доме появлялась крупная речная рыба, мой отец почти всегда вспоминал при этом один эпизод из своего детства. Подростком случилось ему поймать на удочку в нашей речушке два больших окуня. Для тринадцатилетнего мальчишки большая удача. Он замотал рыбин в рубашку и побежал домой — не терпелось показать свой улов деду. В горячке радости забыл отец, что прошедшей зимой дед Антон совсем ослеп — только свет да тьму и различал. К тому же “отнялись” ноги, и он, всегда теперь сидя или лёжа на печи, “грел” их. Так, говорил, они меньше ныли.

Богатый дед Антон — пять внучков, а любимым был мой папа. Отец рассказывал, как он себя маленького помнит, — всегда около деда крутился, а тот брал его и в лес по грибы, и на рыбалку. Когда-то я видел очень

КРУПИН Николай Дмитриевич родился в 1954 году в селе Смольково Иса克林ского района Куйбышевской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт по специальности “инженер-механик” и Куйбышевский государственный университет по специальности “историк”. Работал инженером, преподавателем. Был частным предпринимателем. В настоящее время пенсионер. С 1974-го по 1978 год — активный участник движения авторской песни, сейчас — “домашний” бард. Рассказы печатались в журналах: “Русское эхо” (Самара), “Чайка” (СПА), “Смена” (Москва) — первое место в литературном конкурсе за 2018 год, “Урал” (Екатеринбург), “Эдита” (Германия), “Дальний Восток” (Хабаровск). В самарских издательствах вышли две книги — “Польский джаз в сельском клубе” в издательстве “Самарская губерния” и “Рассказы” в издательстве “Русское эхо”. Живёт в Самаре.

давнюю фотографию: дед сидит на стуле, внук стоит сбоку от него. На снимке видно, что дед ещё здоров. Он спокойно и строго смотрел в объектив фотокамеры. Лицо иконописно: высокий лоб, большие глаза, прямой тонкий нос и борода — чёрная, очень аккуратная. Отцу на фотографии лет десять. На голове — чуть сдвинутая набок фуражка, на лице — едва заметная улыбка. Наверное, фотограф попросил улыбнуться.

Но вот прошло три года, и дед Антон молча сидел на печи — ждал, когда смерть заберёт его в иной мир. В мир, где он будет и видеть, и ходить. Может, дед в этот мир не верил, а просто ждал, когда же он уснёт — счастливо и навечно...

Отец подбежал с окунями к деду и осёкся — вспомнил, что тот своими глазами ничего уже не видит, — но всё же нашёлся, что сказать:

— Я таких окуней больших выловил!

— Дай их мне, — попросил дед. И, взяв у внука уже уснувших рыб, стал водить по ним руками, оценивая их величину.

Он сидел на печи, голова обращена к окну, в сторону, откуда шёл свет. Отец смотрел, как сухие жилистые руки деда трогают окуней, и ждал похвалы: за выполненную работу, за учёбу дед всегда хвалил. Но сейчас почему-то молчал. Отец поднял глаза и посмотрел на лицо деда: нижняя губа слегка дрожала, а из открытых, ничего не видевших глаз ручьями лились слёзы. Дед не хотел своим плачем расстраивать внука — вот и молчал. Но через некоторое время всё же сумел совладать с собой и похвалил:

— Хорошие окуни! Наверное, с мои лапти будут!

Этот эпизод из своего детства мой отец запомнил отчётливо и навсегда. И уже взрослым, вспоминая и деда Антона, и окуней, не переставал удивляться и волноваться:

— Он гладил окуней, а всё лицо его было мокрым от слёз!

В конце того лета дед Антон умер. А ещё через год окончилось детство моего отца. Он закончил сельскую “семилетку” и в четырнадцать лет стал работать в колхозе на колёсном тракторе СТЗ. Мужчин в селе не было. Шла война.

2

С той поры прошло много лет. По годам отец пережил деда Антона уже на двадцать лет. Но, несмотря на свой почтенный возраст, был ещё бодр и здоров: содержал большой дом в селе, ухаживал за мамой — она последние годы сильно болела. Смерть подбиралась к нему медленно и осторожно, как хищник за добычей.

С приходом очередной, последней для него весны отец как-то сразу сдал, а к осени совсем занемог: он плохо и с трудом ходил — ноги не слушались головы, путались мысли... В городе, куда я его привёз на лечение, нашёл-ся он категорически отказался. Пришлось отвезти отца снова в село и нанять сиделку — она же медсестра. Сиделка выполняла лечебные процедуры, назначенные городскими докторами, ухаживала и за папой, и за мамой.

Однако ни дорогие препараты, ни процедуры, к большому огорчению, не помогали — отцу становилось всё хуже и хуже.

Как-то, уже вечером, я позвонил сиделке и услышал от неё, что отец весь день не ест и не пьёт, лежит, повернувшись лицом к стене, не разговаривает. К тому же поднялась температура — почти под сорок.

Упало сердце.

— Это всё! — подумал я.

Но утром произошло чудо — температура спала, отец, проснувшись, попросил поесть и даже улыбнулся. Радость захлестнула меня, появилась надежда. И что я только не представлял: ранней весной мы приедем с сыном и выставим улы; а когда станет совсем тепло и зацветёт верба, приведу отца на пасеку, усажу его на стул, и он будет с радостью смотреть, как пчёлы, покидая улей, дружно летят на “взятки”. Сердце пчеловода возрадуется!

— Дайте ему телефон, — попросил я сиделку.

— Пап, ну, как ты себя чувствуешь?

Я ожидал услышать знакомый и родной голос. А услышал тихий, сдавленный, доносившийся то ли издалека, то ли из-за толстой глухой стены, чужой полуголос-полушёпот:

— Нормально...

Я слышал, как сиделка громко сказала отцу:

— Ну, вы скажите ему, какое у вас настроение, что ели...

В трубке было молчание. Я стал что-то говорить. Говорил для того, чтобы отец услышал мой голос, говорил для того, чтобы его как-то подбодрить. Говорил то, что в подобных случаях говорят своим близким: что, конечно, он выздоровеет, что мы ещё с ним сделаем и то, и то... Я делал паузы. Но обратной связи не было — телефон молчал. Наконец сиделка прервала мой монолог:

— Он плачет, — тихо, чтобы отец её не слышал, сказала она.

Только два раза я видел, как плакал отец, — он не был ни сентиментальным, ни слезливым. Но сейчас, наверное, он понял, что с ним происходит, и не смог пересилить свою душевную боль. Я представил, как он беззвучно плачет. Беззвучно, чтобы не расстроить меня — своего сына. И... я тоже не смог сдержаться. Разделённые двумя сотнями километров, мы — отец и сын — держали в руках телефоны и беззвучно плакали, чтобы не расстраивать друг друга...

На следующий день я приехал к родителям. Отец лежал в своей комнате на кровати. Ходить он уже не мог. Тело не слушалось его. Он мог только двигать руками, но координации движений у рук не было. Увидев меня и услышав мои слова приветствия, отец что-то сказал — он пошевелил губами, но я ничего не расслышал, — потом повернул голову к стене и закрыл лицо рукой. Тело его задрожало...

Душевные страдания его были невыносимы для меня: я был рядом с любимым человеком, но не мог ничем помочь ему, не знал, какие слова сказать. Мама лежала тут же на соседней кровати. Ничего не говорила. Смотрела перед собой, и взгляд был сух и безразличен. Я понял, что это безразличие за пределами уже выстраданного.

Через два дня отца не стало.

Он умер в солнечный октябрьский день. А вот день похорон выдался дождливым.

Ещё при жизни отец просил похоронить его на кладбище нашего родного села — более сорока лет назад мы с родителями переехали и стали жить неподалёку, в большом посёлке. Это километров двадцать по грунтовой дороге.

На кладбище прощались с отцом спешно. Дождь разошёлся, и на обратной дороге мы могли бы безнадежно завязнуть в грязи. Я подошёл к отцу, чтобы навсегда проститься с ним. Всё его лицо было мокро от дождя. Или это были его ещё не высохшие слёзы, когда он беззвучно плакал, прощаясь с жизнью, прощаясь со своими любимыми людьми?..

3

Домой с похорон мы вернулись под вечер. Дождь прошёл. Поднялся ветер. Он дул с Запада, растаскивая и разрывая облака. За лесом, не видимое мне, заходило за горизонт большое красное солнце. Далёкий горизонт был уже свободен от облаков, и края выгнутых ветром тёмно-серых туч становились красно-розовыми от солнечных лучей, и сами тучи тогда становились похожи на больших серых рыб с красными плавниками. Подняв голову, не отрываясь, я как замороженный смотрел на эти облака. Они быстро плыли по небу в сторону нашего родного села. И представил я, что там, за лесом, стоит большой, прозрачный, как привидение, дед Антон и из своих сухих жилистых рук пускает по небу больших окуней, направляя их в сторону своего родного села. Чтобы эти рыбы проплыли медленно и величаво над нашей Родиной — над её лесами, полями, речкой и над кладбищем, где теперь зарыт и его внук.

Первый раз я услышал историю про окуней и плачущего деда Антона, когда мне было лет десять-одиннадцать. Мы тогда ещё жили в своём родном селе. И хорошо помню, при каких обстоятельствах это произошло. Я приехал с рыбалки и привёз добычу — двух здоровенных окуней. Дело было в июне. Я договорился с двумя товарищами порыбачить в нашей речке — пескарёй половить. Но Толян — самый старший из нас — настоял, чтобы мы поехали на велосипедах на большую речку. Там я и выловил этих рыб. Моё появление в доме с двумя большими окунями вызвало не изумление, а, скорее, нездоровое оживление. У нас тогда гостил младший брат отца — он жил в городе и приехал в отпуск. Был он страстным рыбаком, но мой дед нагружал его домашней работой, и рыбалка каждый день откладывалась. Увидев окуней, дядя почти закричал, обращаясь ко всем, кто в то время был в доме:

— Маленький пацан ловит такую рыбу, а я здесь сижу, как дурак! Всё! Завтра на рыбалку!

Никто не сказал ему ни слова против — было видно: его не удержать. У соседа взяли напрокат мотоцикл; дядя с отцом не спеша ехали на нём за мной, а я ехал впереди на велосипеде, показывая дорогу. Сейчас я понимаю, почему мой отец, к тому времени равнодушный к рыбалке удочками, тоже решил поехать за окунями. Ему так хотелось снова поймать на удочку больших окуней и снова показать их — пусть в мечтах — своему любимому деду и услышать от него слова похвалы. Увы, клёва не было. Что только отец не делал: забрасывал удочку рядом с камышами около берега, забрасывал на середину омота, где хищники охотились за мальками, но рыба не ловилась.

Вечером, после нашего приезда с неудавшейся рыбалки, услышав рассказ про окуней и деда Антона, я с любопытством и завистью спросил отца:

— А что, у нас в речке окуни водились?

— Водились, да ещё какие! И лини были, и щуки.

С семи лет я окончательно и бесповоротно “заболел” рыбалкой. И в истории, рассказанной отцом, меня тогда, в первую очередь, заинтересовали окуни. Их к тому времени в нашей речке не было, как не было ни линей, ни щук. Приходилось промышлять мелкую рыбёшку, а так хотелось ловить крупную рыбу! Куда же она исчезла?

— Я как из армии пришёл — ни окуней, ни щук, ни линей в речке нашей уже не водилось, — вспоминал отец.

После смерти родителей я разбирал бумаги, оставшиеся в шкафах. Книжки, документы, фотографии. И мне попадалось очень много листков, исписанных отцом. На листках он писал адреса и телефоны родственников и знакомых. С годами память становилась хуже, он понимал это и заполнял вот такие листки — так он страховался, на случай, если забудет что-то. Попадались листки с ещё очень приличным почерком, а записи, сделанные незадолго до его смерти, разобрать совсем трудно. Листок вот с таким неразборчивым почерком я и держал в своих руках. На мятом тетрадном листке в клетку написаны уже много раз повторяющиеся на других листках телефоны и адреса родственников. Писал отец обычно на одной стороне листа. А этот лист я решил перевернуть. На обратной стороне, посередине листа я обнаружил одну короткую запись: “Дед Антон умер такого-то месяца, такого-то года”. Я едва разобрал эти слова. Может быть, это последнее, что отец написал.

После смерти отца прошла зима. Май выдался холодным и дождливым — потеплело только к июню. В моих родных краях подсохли грунтовые дороги. В это время я и поехал в своё родное село. Успокоившаяся немного

за прошедшее время душа моя вновь пролилась слезами, когда я пришёл на могилу отца. Говорят, время лечит душевные раны, и боль душевная становится не так остра. Но что поделать: любимый человек навсегда ушёл в другие миры, и осталась в сердце пустота, которую уже ничем не заполнить. Вот и изливается душа слезами, чтобы заполнить эту пустоту, но — тщетно...

С кладбища хорошо видна речка. Она извилисто тянется вдоль гряды высоких гор и обозначается зеленеющими кронами вётел и ольшаника. Святые для меня места! Каждое лето я стремлюсь сюда, чтобы пройтись вдоль речки, умыться лицо её светлой, прохладной водой и, не вытирая лица, подставить его горячему летнему солнцу.

И я снова, в который уже раз, иду по её берегу, по зелёной траве; смотрю на её перекаты и плёсы, смотрю, как ветки ивы купаются в реке.

Неожиданно из-за поворота реки вышли три человека. По виду — деревенские мужики: двое, как говорят, в возрасте, третий — совсем молодой парень лет двадцати. Парень шёл налегке, двое других — с поклажей: один мужик нёс рыбацкую снасть — небольшой бредень, другой — чёрную кирзовую сумку. Я решил пошутить. Сделал сердитое серьёзное лицо и официальным голосом остановил рыболовецкую бригаду:

— Здравствуйте! Я инспектор рыбнадзора! Что, браконьерство?

Мужики остановились. Те, что в годах, растерялись. Молодой их спутник внешне никак не отреагировал. Я подошёл к ним поближе.

— Да какое там браконьерство?! — Мужик с виноватой улыбкой открыл сумку и показал мне улов. На дне сумки было не более двух пригоршней мелкой рыбёшки: пескари, огольцы, уклейки.

— Что же вы так?! — с укором воскликнул я. — Рыба, что ли, в речке перевелась?!

Мужики поняли, что никакой я не рыбнадзор, и заулыбались. Парень что-то буркнул с недовольным лицом.

— Два часа лазили! И вот — на тебе!

Мужик встряхнул сумку. И я увидел! — наверху оказались две небольшие серые рыбки с красными плавниками.

— Погоди! Погоди! Это же окуни! А их, я помню, в этой речке не было! — удивился я.

— Не знай! Вот первый раз попались. Сроду я их здесь не ловил, — сказал тот, что с сумкой.

— Да были они раньше! Только давно — до войны. Мне дед рассказывал. И другая крупная рыба была, — возразил мужик с бреднем.

— Что же вы таких маленьких взяли?! Пусть бы подросли.

— Не мы — так другие возьмут. Сейчас жизнь такая: если не ты — другой ухватит, — зло стрельнул глазами молодой рыбак.

Окуньки из последних сил медленно раздвигали жабры. Мужик решительно взял рыбёшек в руку и бросил их на середину речки. Несколько секунд окуньки лежали на поверхности воды неподвижно. Потом один быстро задвигал плавниками и стремительно ушёл в глубину, второй лениво поплыл по поверхности

— Ничего, отойдёт, — сказал про второго окунька мужик с бреднем и, обратившись к парню, воскликнул, — а ты такой ещё молодой, а уж, прости Господи, злой и скупой, как моя старуха!

Пожелав хорошего улова, я попрощался с рыбаками.

Мужики двинулись дальше вверх по течению реки и вскоре стали спускаться к руслу, расправляя свою нехитрую рыбацкую снасть.

СЕНОКОС

С утра и до обеда мы возили сено с ближних паёв. От окраины села и до леса — а это километра два — тянется большой овраг; на пологих склонах его растёт густая трава. Здесь и косить начинают пораньше, и сохнет трава быстрее, чем на лесных полянах или около леса, потому как круглый день на солнце да на ветру. Вот отсюда и возили.

Мы сделали три “рейса” на лошади — привезли, как тогда говорили, три колымаги сена. Ездили втроём: мой дед, ещё не старый тогда мужик шестидесяти лет, одноногий (ноги по молодости лишился), дядя Саша — ему сорок лет было, он старший сын у деда с бабушкой, жил в районе, но всегда на два-три дня приезжал помогать в заготовке сена, вот и в этот раз — сначала приезжал косить сено, а теперь приехал сено перевозить. Третий — это я, подросток пятнадцати лет.

Ещё совсем недавно мы с родителями жили с дедом и бабушкой в этом селе, а потом переехали в большое животноводческое хозяйство. Но каждый год во время сенокоса я помогал деду в заготовке сена. Это было для меня святым делом. Да и удовольствие от сенокоса я получал: главное для меня была косьба, я испытывал чувство гордости, когда, встав в ряд со взрослыми и опытными косцами, широко и сильно махая косой, ни на шаг от них не отставал. С сочным хрустом валился срезанный моей косой густой пырей. И напрягаясь, чтобы коса шла ровно, чтобы не отставать от идущего впереди, я чувствовал силу мышц от пяток и до шеи...

Осталось перевезти сено с дальних паёв. Тут для перевозки нужна была бортовая машина. На лошади не получалось — и далеко, и в одном месте подъём крутой, без механической силы не обойтись.

Ещё вчера дядя Валя — это младший сын деда, молодой мужик лет двадцати семи, жил в этом же селе “примаком” у тестя — ходил к председателю колхоза просить машину. И председатель машину дал, правда, с оговорками. Но его понять было можно — как раз начиналась уборка зерновых, а в колхозе тогда имелось всего четыре грузовые машины ГАЗ-51. Не до жиру — в середине 60-х годов сельхозтехники в сёлах было мало. И машину дал с условием: перевозить сено только вечером после работы.

Как пришёл дядя Валя после разговора с председателем к деду, так все домашние сразу разволновались, занервничали: вдруг что-то не заладится — машина сломается или срочно для колхозных дел потребуется, шофёр вина выпьет лишка... И каждый по поводу предстоящей поездки за сеном высказывал свои опасения. Да и как иначе? Это важное событие для сельской семьи. Десятилетиями помнили мои домочадцы, как сено в тот или иной год привозили: и как в грозу попали, и как с горы крутой чуть в речку не сорвались — много чего случилось...

Совсем недавно я проезжал на своей машине по памятным сенокосным местам. Трава стояла выше колен. И никто её не косил. Совсем не осталось коров на личных подворьях. В сельском магазине покупают мои земляки в картонных коробках порошковое молоко. Говорят — хватит, наломали спины; а которые вздыхают — непорядок это, при таких травяных угодьях бог знает какое молоко пить, которое и молоком-то не пахнет.

Чуть ли не тридцать лет прошло, как кончились мои сенокосы. Но многие эпизоды тяжёлой, но и радостной для меня сенокосной поры помню до сих пор отчётливо. Вот и тот вечер, когда привозили сено с дальних паёв, помню хорошо.

Приедет или не приедет машина, гадали все. И я хочу каждому дать слово. И первое слово дам человеку, которого в то время уже не было с нами. Два года назад умерла моя прабабушка. Я оплакивал её уход в мир иной, как взрослый. Для меня она навечно осталась в памяти живой. Может, потому, что это был первый близкий и любимый человек из нашей семьи, который ушёл от меня куда-то навсегда.... Вот я приезжаю в свой отчий дом, а она меня не встречает на крыльце. Значит, умаялась и лежит, греет ноги на печи или, ругая незлобно ленивую современную молодёжь, дёргает сорную траву в огороде... Но она, безусловно, где-то рядом — а где же ей быть ещё?! Не на кладбище же под крестом с табличкой “Спи спокойно бабушка”? Эту табличку её внук дядя Петя сделал на заводе из нержавеющей стали. И она пятьдесят лет висит, прибитая к дубовому кресту. А у меня все эти пятьдесят лет две претензии, — конечно, несерьёзные — к дяде: почему только “бабушка”, она была тогда кому-то и мама, и прабабушка; и другая претензия: почему запяточку не поставил? Учила дядю правилам русского языка в школе моя мама.

Какой была моя прабабушка в расцвете лет, я не знаю, а вот к концу своего жизненного срока стала пессимисткой:

— Нонче ведь ни на кого надёжы нет — все мужики только и знают в рюмку глядеть.

При этом стояла или сидела бы она в сторонке и сказала всё это в момент, когда разговоры остальных членов семейства на время закончились и возникала пауза. Сказала она это тихо и с сожалением. Но так, чтобы все услышали её слова.

Мой дед — её зять — на это сразу бы отреагировал, резко и с нажимом прикрикнув:

— Хватит заранее причитать! Нытьём своим беду накличешь!

Я знаю, почему так зло отреагировал дед на слова прабабушки. Дело не в нытье и не в причитании — дед до недавнего времени был большой любитель выпить. И он скрытый намёк в свою сторону разглядел сразу.

После окрика деда прабабушка опустит голову и пойдёт, согнувшись сильнее, чем обычно, куда-нибудь в дальний уголок или полезет на печку. При этом тихо и скорбно скажет:

— Ну вот, опять не угодила...

Всхлипнет, чуть задрожит нижняя губа...

Так бывало. Почти всегда, когда решались важные семейные дела. А прабабушка когда-то была самой главной, и даже муж её, мой прадед, взял при венчании её фамилию.

Но в тот вечер прабабушки уже не было, а может, она спала тихонько на печке — кто знает...

Самым большим оптимистом был дядя Валя:

— Всё нормально будет! Что вы тут... — И обязательно скажет какое-нибудь крепкое непечатное слово. — Витёк не подведёт, и никуда его не пошлют. Вы молитесь, чтобы дождя не было!

— Какой тебе дождь! — воскликнет бабушка. — И признаку никакого нет! И на завтра ведро обещали по радио.

— Нам по радио коммунизм скоро обещали, а пока и признаку никакого нет. Только из колхоза стали больше тащить. А что, может, это и есть коммунизм?

Оторвёт от газеты голову дядя Саша, самый грамотный и начитанный человек в этом доме:

— Ну, что вы за люди? Не приедет сегодня — завтра приедет. Каждый год вы нервы друг другу треплете, а сено хоть раз оставляли на зиму около леса?

Ну, тут все на какое-то время приумолкали. Тем временем солнце начало терять яркую желтизну, и появлялись на огромном небесном светиле едва заметные оттенки розового цвета. Словно сговорившись, все в избе молчали: не дай-то бог каким нечаянным словом сглазить важное дело. Дядя Валя вышел за дом и стал смотреть на дорогу.

— Вот видите, я же говорил, что Витёк не подведёт! — На другом конце села поднялась пыль на дороге.

Я удивился интуиции своего дяди:

— А откуда ты знаешь, что это Виктор?

— А кто же ещё?

И дядя подробно рассказал, где сейчас находятся остальные три машины и чем занимаются их водители. Помню, я удивился его осведомлённости:

— А откуда ты всё это знаешь?

— Это деревня, Колёк! На одной стороне села бабка пукнет, а на другой уж обсуждают: заболела она или так — зорует.

— Ну, чё, поехали? — небольшого росточка, худощавый, подвижный молодой мужичок в фуражке набекрень, в огромном сером пиджаке выскочил из кабины и тут же, открыв капот, стал заглядывать с интересом в нутро механизма. Смотрел подозрительно, то и дело помахивая головой, словно сомневаясь в его способности совершить предстоящую работу.

Немедленно к машине вышли все домашние и стали здороваться с водителем — степенно, по имени обращаясь к нему. А он, не оборачиваясь, коротко бросал — “здрате, здрасте...”

Только тронулись — слышим, дед кричит:

— А гнёт-то!

— Да ладно, бать, там срубим! — крикнул дядя Саша.

— Што болташь! Где ты там срубишь?

Деда с собой не взяли. В кабину с водителем уселись мы с дядей Сашей, а дядя Валя поехал на мотоцикле впереди нас — он должен был заехать за дядей Толей — нашим всегдашним помощником в этом трудном деле — молчаливым, крепким, жилистым мужиком, по возрасту ровесником дяди Саши.

В кабине машины сильно пахло бензином, под ногами туда-сюда перекатывались какие-то железки, видимо, запчасти. Гнёт в кузове громыхал, его бросало из стороны в сторону. В открытые окна кабины врывался предвечерний воздух сенокосной поры с запахами сухой травы, ароматами ещё не отцветших трав, свежестью реки, что протекала неподалёку. Я так хотел сидеть у окна, но это престижное место без лишних слов занял дядя Саша. Словоохотливый и контактный человек, он первым начал разговор:

— Загрузить бы машину побыстрее и доехать засветло.

Витёк молчал.

— А то в прошлом году шабёр наш Федя в темноте наперекосьяк сена наложил на машину — она у него набок упала.

— Чё-то я такого не помню! — подал голос водитель.

— Да ты что! Заново перекладывали. Ещё хорошо, что его сын на мотоцикле был — светил, а то не знаю, как бы они справились. На двор приехали в первом часу ночи. Кто дома остался, чуть с ума не сошли.

— Ты такие разговоры брось — накаркаешь!

— Накаркаешь...

Я нутром почувствовал, что дядю задело такое к нему обращение, и он хотел уже начать назидательный и поучительный разговор о чистоте русского языка и деликатности, но с трудом воздержался: шофёр в селе фигура неприкасаемая, и без особой надобности волновать его не следовало. И дядя Саша перевёл разговор о заработках механизаторов на селе, а потом стал о своей непростой судьбе рассказывать — это была его самая любимая тема. Шофёр больше молчал. Думаю, что он и не слушал дядю, а думал о том, чтобы побыстрее развязаться с нашим делом, получить своё и уехать домой. Дорога, если добираться на машине, недлинная, но ехали не спеша, и дядя сумел намолоть слов немало...

Косить я научился рано — лет в одиннадцать. Очень хорошо помню, как первый раз пришёл с косьбы. Бабушка ужин ставила на стол, а я, выпив залпом кружку холодного кваса из погреба, упал от усталости на кровать. Да так, видно, крепко уснул, что трогать меня пожалели. Утром бабушка стала меня будить, а я говорю, что, ужинать? Нет, смеялась бабушка, завтракать. Я хотел встать, а не мог — всё тело болело. Дядя Саша сказал: ничего, разойдётся — всегда так бывает первый раз. И действительно, разошёлся. Косьба — работа тяжёлая, мужская, но порой и бабы косы в руки брали, а что делать, если мужик один не управляется или его, мужика, вообще в доме нет.

А вот сгрести валки, складывать копны — это уж женское и ребячье дело. Плохо, если дожди во время сенокоса зарядят — каждый день надо валки переворачивать, чтобы сено не сгнило. Для меня эта работа — муторная и бесполовая — была, как нож в сердце. А в целом — тяжёлое это дело, сенокос. В те годы городские родственники приезжали помогать сено заготовливать. Раньше это было в порядке вещей. Потом уж, как в стране нашей капитализм начался, почти перестали городские приезжать. Что сказать? Каждый за себя...

По правую сторону от машины раздался звук, похожий на шум идущего на взлёт "кукурузника". Это догнал нас на мотоцикле дядя Валя. Дядя ехал без головного убора, прямо держал спину и заметно, на публику, лихачил. А что? Он ещё молодой мужик был. Дядя Толя сидел в люльке.левой рукой он держался за край люльки, а правой поддерживал фуражку. Со стороны было похоже на то, что дядя Толя принимает военный парад. Дядя Саша словно угадал мои мысли:

— Во! Авангард Кантемировской дивизии.

Я рассмеялся. Витёк никак не отреагировал на шутку.

Дорога пошла под гору. Открывался вид на широкую долину небольшой речки. Когда-то вдоль неё стояло несколько небольших сёл. А сейчас два или три дома с выставленными ставнями пустыми глазами глядели в вечерние сумерки.

Солнце наполовину уже скрылось за горизонт, когда мы начали нагружать машину сеном. Работали споро и скоро, домой приехали ещё засветло. Солнце скрылось, но закат алел. Его розовый цвет мешался с пылью, которую поднимали мотоциклы местной молодёжи и грузовые машины — свои и из других сёл. Над порядком села стоял серо-розовый шлейф пыли.

Дед стал настаивать на том, чтобы сразу с машины сено уложить в омёт. Дяде Вале было неудобно пред шофёром: это немалое время — сооружать омёт, и он стал спорить с дедом, убеждая его оставить укладку сена до завтра.

— Бать, давай мы завтра с утречка сложим, а Витька отпустим, чай, у него свои дела! А сейчас гнётом подопрём и свалим.

— Ай! Какой ты прыткой! Сейчас сено пластами лежит — айда, клади его. А ты свалишь гнётом, перемянешь его, потом будешь целый день канатыриться.

Дед подошёл к шофёру:

— Ну, ты, чай, Виктор, подождёшь немного, а я уж тебя не обижу.

Виктор мнётся: ни да, ни нет... И дед рукой даёт отмашку: давай, клади омёт!

Дядя Валя нехорошо выругался, но это скорее для шофёра. Дед, несмотря на то, что без ноги был, сам стал закладывать омёт. Потом, когда определились контуры омёта, в дело вступил дядя Толя.

Дед сделал своё дело: настоял на своём, скомандовал, заложил омёт и теперь, усталый, отошёл в сторонку и стал наблюдать за нашей работой, как полководец за битвой. Дядя Валя сбрасывал сено с машины, а мы со старшим дядей подавали его вилами с длинными черенками на омёт. Дядя Толя аккуратно, по “науке” раскладывал сено так, чтобы и дождь его не пролил, и чтоб зимой было удобно брать.

Вот тут и начался монолог дяди Вали. Иногда вступал дядя Саша. Дядя Толя молчал. А я смеялся от души; да так, что иногда задыхался от пыли и сухой травы, попадавшей мне в рот. Дед прикрикивал на сыновей:

— Хватит болтать-то! — Это было его самое что ни на есть цензурное выражение. Дед был страшным матерщинником, хотя его мат звучал как-то естественно и не грязно.

Стало заметно темнеть. Все работники разделись до пояса — жара не спадала, — к мокрым потным телам стали приставать мелкие сухие колючки, а вскоре в изобилии появились комары. Село стояло на берегу большого пруда, а пойма была болотистая. Один дядя Толя так и не снимал ни пиджака, ни фуражки. С раздражением и руганью мои дядья снова надели рубашки. У молодого и горячего дяди Вали внутри, чувствовалось, закипали разные чувства, требующие выхода.

— Ну, вот, скажите мне дураку — в какой ещё стране так заготавливают крестьяне сено? Ночью, как воры!

— Правду, Вальк, говоришь, — это дядя Саша, — всю жизнь русский мужик спину гнёт, работает, как проклятой, а по-человечески у него не выходит! “Ты и обильная, ты и бессильная, матушка Русь!”

Возникла пауза в разговоре, некоторое время работали молча. И мне снова почудилось, что со двора, из темноты, тихонько и незаметно вышла прабабка Варвара.

— Вы бы омёт-то рядышком к воротам ложили — всё ближе зимой таскать-то.

— Ну, тебя только не спросили! Давайте правление колхоза соберём. Там таких, как ты, советчиков до хрена! — Это реакция деда.

— Мама, дорогая наша мама, ты там, что положено, не забудь! — театрально, немного манерно крикнул дядя Саша. А бабушке, чувствовалось, это было приятно — нечасто сельские женщины получали словесные ласки.

Было видно, что молчаливый и сосредоточенный на работе дядя Толя при этих словах понимающе улыбнулся.

Работали мы, можно сказать, из последних сил — считай, с раннего утра сено тягали. Дядя Валя так и сказал:

— Ну, всё! Вот сложим омет, а там только картошку выкопать...

Дядя Валя был ещё молодой мужик, только вступающий в самостоятельную трудовую жизнь и нащупывающий свой путь в нелёгком житье-бытье. После службы в армии он сразу женился и уехал жить и работать в небольшой город. Но что-то там у него не заладилось. И вот он, как блудный сын, вернулся в родные пенаты. Пока жил с семьёй у тестя, но уже планировал переехать к отцу — моему деду. Однако чувствовалось, что в его голове были мысли и про городскую жизнь: в одном месте не заладилось, может, в другом наладится?

Темнота всё стужалась. И вот уже друг друга мы узнавали только по силуэтам. А комары не отставали, они и через рубашки жалили. Всё тело от их укусов горело пламенем.

— Как тут работать?! — обращаясь то ли к деду, то ли к самому себе, восклицал дядя Валя, — не видно же ни хрена! Темно, как у негра в ж... животе!

Вся работающая бригада громко рассмеялась. Только дед молчал. Может, он и улыбнулся. Но в густых сумерках этого не было видно. Да я, зная деда, был уверен — не улыбался тогда он, — он вообще редко улыбался, когда вершилось важное серьёзное дело. В других обстоятельствах — пожалуйста: и шутил, и стихи экспромтом сочинял, а сейчас... важное дело.

— И зачем я, дурак, опять в эту деревню приехал? — дядя Валя это предложение повторил в нескольких вариациях — я привёл самую благозвучную.

— Вот Петруха (это брат дяди Вали) в городе живёт. Отработал свои восемь часов, пришёл домой, поел и на диван — телевизор смотреть. Красота! Вот это, я понимаю, жизнь! Надо молока — в магазин сходит, а там и ряженка, и кефир, и сметана. И никакого сенокоса нет.

Люди молча работали. Или соглашались с Валентином, или о своём думали. Наконец, дядя Саша задумчиво произнёс:

— Город...

Помолчал немного, словно привлекая к себе внимание, и продолжил:

— Так, Вальк, и в городе надо крутиться. Что-то не больно хвалят свою городскую жизнь мужики, которые туда из села уехали. Так, по пьянке про зарплату похвалятся, а не говорят, что эту зарплату они только в день поллучки видят, а потом сразу жене отдают. Вроде дети они малые, и копейки им доверить нельзя. Они и играют в дурачков: после работы скинутся на бормотуху и домой к скандалу приходят.

— Это кто как себя поставит, — вступил в спор дядя Валя, искренне полагая, что он-то уж как надо себя поставит, — в деревне ведь от работы ни продыха, ни роздыха: то на колхоз работай, то на своё хозяйство. А в городе стабильная зарплата. И отдых гарантированный. Чать, помните, как Петька в отпуск приехал весь обгорелый от солнца? Это, говорит, мы с Лорой на пляже отдыхали. На песке лежали и уснули. Целый день лежали на песочке и ничего не делали! А я тут за всё лето ни разу на рыбалку не сходил! А речка через село протекает, пруд под носом.

Дядя Валя помолчал. Сбросил несколько навильников сена на землю. И тут какое-то насекомое неслабо его укусило, — может, и пчела припозднившаяся: наша пасека рядом была. Дядя Валя крепко выругался. С манерным стоном потёр место укуса.

— А жара-то! Сдохнешь тут с этой коровой! — сказав про корову, он неожиданно перекинулся на другую тему (но всё в том же ключе — как плохо в деревне жить).

— А пиво? Почему у нас пиво раз в году продают? Видите ли, в честь окончания уборочной! Что мы в селе, прокажённые?

— Ты прав, Валька, — поддержал его дядя Саша — большой любитель и пива, и других алкогольных напитков, — это раньше так помещики

мужиков благодарили за труд после окончания летних работ. А пиво, да! Сейчас бы холодного пивка!

— Не трави душу, братик! — почти кричит дядя Валя. — Правильно я говорю, Анатолий?

Дядя Толя самоотверженно и молча работал. Два человека подавали ему сено, а он, стоя на верху уже заметно выросшего омета, жонглируя вилами и балансируя на шатком, ещё не просевшем сене, ловко укладывал подаваемое вилами сено.

— Вот сюда, на край кидай! А ты на меня — да не бойся — бросай!

Я бросаю пласт сухой травы прямо ему на грудь, он приминает под себя траву и тут же принимает навильник сена у дяди Саши и укладывает его аккуратно на край омета.

Дед стоит рядом, опершись на палку. Наблюдает.

— Может, передохнём? — это дядя Саша. На что дед тут же:

— Айда, отдыхальщик! Ай умаялся?!

— Не жалеешь ты, бать, детей! — с нажимом и едва заметной иронией говорит дядя Саша. Ему чуть за сорок. Сидячая работа в райцентровской конторе позволила ему заметно округлить живот. Когда дядя Саша отдыхал днём, лёжа на боку на диване, его живот смешно выкатывался рядом с ним, словно он для смеха спрятал под рубашку арбуз. Дядя Саша не в пример сельским мужикам заметно изнежен. Своей розовощёкостью, солидным брюшком, ранней лысиной он был в те годы похож на гоголевских персонажей из фильма “Ревизор”. Дед, конечно, знал, что его старший сын не шибко устаёт на своей работе, поэтому сразу же пресёк попытку дяди Саши устроить перекур. Была и другая причина — нельзя терять набранный темп работы. Хорошо и ладно шла работа. И это несмотря на трудности, которые нам приходилось преодолевать: темнота, жара, пыль; прибавилось комаров, они нещадно жалили даже через рубашку, лезли в уши, в нос; рот нельзя было открыть — тут же залетал туда комар. Дядя Валя стал сильно материться:

— Вот и закуски не надо — комарами наедемся!

Своё нелестное мнение о деревенской работе и деревенской жизни высказывал и дядя Саша. А дядя Толя работал молча — только успевай ему пласты сена подбрасывать. Заметно стемнело, я видел лишь силуэт его, но зримо представлял, как по его худым, коричневым от загара скулам каптется пот и по шее стекает за воротник рубашки.

— Бать! А Петенька наш сейчас лежит на диване. Телевизор смотрит и Лорочку свою по животу гладит, — никак не уймётся дядя Валя. Мысли о райской городской жизни, чувствовалось, одолевали его в данный момент крепко.

Наконец в разговор вступил молчаливый дядя Толя:

— Вальк, дался тебе этот телевизор — возьми да купи.

— Анатолий, тебе жарко? — дядя Валя на минуту остановил работу.

— Ну, жарко...

— А хочешь на часок снег, зиму, чтоб остыть?

— Да не мешало бы, — с улыбкой и с ожиданием подвоха отзывается дядя Толя.

— Вот сейчас закончим, и я тебя к своему другу отведу — к Феде Толмачёву. Ты знаешь — тут недалеко. Он нынешней зимой телевизор купил, “Рекорд-64”. В самом конце зимы, в феврале. Помнишь, метели-то какие были? Кое-как мы с ним антенну поставили. Самую длинную жердь нашли. Птицы от неё, как ошалелые, шарахались. Включили телевизор, а в телевизоре снег идёт. Хоккей показывали как раз: СССР — Канада. Федька говорит: ну, небось, у них там снег идёт. Снег! Темнота ты, говорю, они ж в помещении играют. Ну, значит это от погоды, сказал Федька, раз на улице снег, то и в телевизоре снег. Чуть ли не неделю метели мели, и в телевизоре у Федьки одни метели были. Но когда на улице стихло, в телевизоре всё равно снег шёл.

— Значит, приём плохой — не кажет; или антенну не так поставили, — привёл свои догадки дядя Толя.

— Да, вот так нас, деревенских дураков, и дурят! Кажут войну: Израиль арабов атаковал. Диктор говорит: танки в пустыне. А мы что видим? Танки в снегу. А может, это они на нас напали?

— Вальк, тебе бы юмористом работать, а ты телятам хвосты крутишь, — смеётся дядя Саша.

Бывает, расскажет человек смешной анекдот, а никто не смеётся. А есть такие люди: простое слово с нужной интонацией скажет, и все от смеха падают. Вот такой был и есть по жизни дядя Валя. Помню, моя покойная мама, уже обессиленная годами и болезнями, иногда просила меня: “Давай к Вальке съездим, я его прикольчики хочу послушать”; а дядя Валя уж восьмой десяток разменял, но “прикольчики” его были так же остры, как и в молодые годы.

А городской жизни дядя Валя завидовал в тот момент, я думаю, от минутной расслабленности душевной, от раздражительности: действительно, устал человек. На него, на молодого мужика, много чего навесили: и тестю помоги, и своему отцу, и в колхозе работай...

— Нет, бать, как закончим сенокос, я в город на разведку съезжу, может, работу себе какую найду.

Дед недоволен такими разговорами младшего сына. Не хочет он, чтобы тот в город уезжал — один с бабушкой в селе останется.

— Айда, айда! Без тебя там дураков мало!

Но... разговоры разговорами, а работа идёт. Вот уж и завершает омет дядя Толя.

— Давай, слезай, Анатолий, — командует дядя Саша, — я омет завтра причешу, сейчас ничего не видно.

Мы протягиваем дяде Толе черенки вил, и он, опираясь на них, спускается на землю.

— Ну, слава тебе Господи и Изусь Марии! — восклицает дядя Саша.

Всё это время, пока мы складывали омет, шофёр Витёк молча сидел на брёвнах около сарая и беспрерывно курил папиросы. Как только мы окончили работу, дядя Валя подошёл к нему, достал из кармана брюк бумажную денгу, положил её в ладонь шофёра и с чувством глубокой благодарности пожал руку Витька вместе с денгой.

— Ну, большое спасибо тебе, Виктор! Выручил! Айда в избу, отметить надо.

Но Витёк стал мяться: ни да, ни нет.

— Всё понял! Я щас.

Дядя Валя, делая вид, что торопится, быстро сбежал в дом и вернулся с бутылкой красенькой.

— Ну, ты уж сам распорядись! — и протянул бутылку шофёру.

Витёк быстро огляделся по сторонам, как вражеский разведчик в шпионском фильме, буквально выхватил бутылку из рук моего дяди, и она моментально исчезла в бездонном пространстве его широкого пиджака. Как по военной тревоге, запрыгнул в кабину машины, завёл движок и был таков.

Дядя Толя сел покурить на брёвна у сарая. Вывески “Место для курения” здесь не было, но раз один человек тут две пачки папирос искурил, стало быть, курить нужно именно здесь.

— Айда, Анатолий, айда! Чать, в избе покуришь, — торопит его дядя Валя.

— “Ямщик, не гони лошадей...” — поёт дядя Саша, намекая на торопливость своего младшего брата, — помыться бы перед ужином не мешало, ведь как негры чёрные.

В начале лета соорудил дядя Валя душ: поставил четыре столба и на них водрузил бензобак, прикрутил рассеиватель для воды.

— Давай, давай, братик! Всё у нас есть: и душ, и вода тёплая в душе — чать, за день-то нагрелась? Всё, что вашей душе угодно, — это нарочито-услужливое обращение на “вы” к своему брату, с которым только недавно и ругался на чём свет стоит, и спорил круто, говорило о том, что дядя Валя доволен, всё благополучно закончилось — самая тяжёлая сельская работа теперь пусть подождёт годик.

Братья скоро помылись. Дядя Толя отказался — дома помоюсь. Но, скорее, не захотел разводить всякие туалеты — застеснялся.

Мужики вошли в избу. Дед всё ещё ходил около омета.

— Ну, что, мам, всё готово? — дядя Валя оглядывает стол, заглядывает краем глаза, что творится около печки — там бабушка всегда готовила еду — и, чего-то не находя, робко так спрашивает: — А где это? Ты, чай, не забыла?

— “Это!” Вот без “этого” никак нельзя! — с напускной строгостью говорит бабушка, но по интонации её голоса тоже заметно, что она рада завершению работ — корова и овцы будут с кормом.

— “Мама, милая мама, как тебя я люблю!” — поёт популярную тогда песню дядя Саша. — Мама, это же самое основное на столе должно быть! — Дядя входит в комнату довольный, румяный, в новой светлой рубашке. Он садится в красный угол комнаты. Над его головой божница. На ней икона со Святой Троицей. А чуть рядом, посередине стены, как раз напротив стола висит картина с изображением Ленина. Ильич сидит за столом, читает газету и пьёт круто заваренный чай.

— Ну, слава Богу, сделали дело. И дело большое! — говорит дядя Саша. Он умыт, свеж и доволен жизнью — молодой и радостный мужчина.

Да и бабушка с дедушкой в те годы ещё не старые — им по шестьдесят лет. Боже! Как давно это было! Мне уж седьмой десяток пошёл, а всё равно помню тот вечер, словно это было вчера...

Дядя Саша за столом, вроде, и на правах гостя, но в то же время и на правах самого старшего сына. Бабушка его любит, язык не хочет говорить, что сильнее других сыновей, но что-то было в её любви к нему особенное, — может, потому, что первенец. Свою любовь к нему бабушка очень искусно маскировала.

— Ого! Глазунья! — радуется и словно удивляется дядя Саша (как деревенский мальчишка, впервые попавший в цирк, когда видит живого слона).

На огромной чугунной сковороде десятка полтора яиц: красно-оранжевые желтки; сковородка раскалена — только сняла её бабушка с примуса, — и глазунья на ней шкворчит и аппетитно пахнет.

Дядя Валя сбегал с фонариком на огород и принёс свежих, с грядки, огурцов, таких же помидоров, лука. В печи млеет баранина с картошкой — по случаю сенокоса “решили” ярочку. Наконец, появилось на столе и “это”. Пришёл с улицы дед. Степенно сел за стол. И вот что обидно: деду врачи запретили и пить, и курить. А как дед вкусно пил! Какие разговоры вёл! Но про эти дела в другом рассказе напишу, Бог даст...

Все окна в избе открыты. С улицы тянет свежестью, запах сухой травы мешается с запахами, приносимыми ветерком с пруда: свежестью воды, поймой, зелёными ветлами. Пыль на улице улеглась. Изредка пройдут молодые люди: разговаривают, смеются. И стихнет всё. Тишина. Деревенская тишина. Слушаешь её, слушаешь и не слушаешься!

Окна открыты. А комаров в избе нет. Этот факт меня удивлял. Вот мух полно. Но с наступлением темноты они садятся на потолок и не шибко надоедают своим жужжанием и укусами. Да летние мухи и кусаются-то не сильно...

— Давай, Сашк, разливай, — говорит дядя Валя.

— А ты что, маленький? Не умеешь? — шутит дядя Саша.

— Долго вы рядиться будете?! Так вас, растак! — ругается дед, он в своё время этим делом командовал звонко!

На его резкое замечание сыновья не обращают внимания. Дядя Толя сидит и улыбается.

— Дак, ты старший — тебе и разливать! — это дядя Валя стремится соблюсти регламент. Было заведено так: разливает старший мужик, который либо хозяин в семье, либо самый главный родственник, но только не старик — старики не разливали по рюмкам спиртное. Очень мудрый был, на мой взгляд, порядок.

— Эх! Хорошая бутылочка! Жалко, маленькая! — говорит дядя Саша и ловким, заученным движением руки срывает с горлышка бутылки алюминиевую пластинку.

— Ну, родные мои, с окончанием сенокоса! Отмаялись и до следующего года!

В избе становится тихо. На несколько секунд. Дядя Валя скоро, чуть ли не одним глотком выпивает водку и запивает холодной водой. Дядя Саша, напротив, долго тянет из рюмки горько-сладкую влагу и, выпив, наконец, закусывает; для начала каким-нибудь овощем — опускает небольшую сочную луковичу в солонку и с удовольствием её поедает, производя аппетитный хруст. Дядя Толя берёт рюмку в руку и на несколько секунд вроде бы замирает, словно готовится к ритуалу, таинству. Потом подносит рюмку ко рту, слегка запрокидывает голову назад и тремя глотками вливает водку в пищевод. Большой, острый кадык его при этом делает три возвратно-поступательных движения, как какой-то механизм. И, едва поставив рюмку на стол, тут же закуривает папиросу.

— Анатолий, ты закусывай, закусывай! Накуришься ещё, — уже с набитым ртом говорит дядя Валя и пододвигает к нему сковороду с яичницей поближе. Гостю неудобно такое избирательное отношение к своей персоне, и он двигает сковородку на прежнее место.

Какое-то время за столом тихо. Без разговоров, не спеша и с достоинством мужики едят.

— Вы что, жрать, что ли, собрались! — И дядя Саша решительным жестом, словно кому-то назло, наливает по второй.

— Уж больно ты прыткий, Сашок! — говорит бабушка, она не участвует в застолье: не принято, чтобы женщины в данном случае сидели за столом.

— “Мама, милая мама, как тебя я люблю!” — снова поёт Сашок. И этого достаточно бабушке, чтобы снова растаять и заулыбаться.

А за окном становится прохладнее, свежий ветер из леса, что за прудом, дует в окна, наполняя комнату прохладой и не передаваемыми никакими словами запахами именно этой округи, этого села.

А мужики, разгорячённые водкой и закуской, не чувствуют прохлады и распахивают рубашки. Дядя Валя вытирает живот тряпкой и с большим чувством выдыхает:

— Хорошо-то как!

Потом немного помолчав, словно что-то вспомнив:

— Мам, баранину-то давай!

И не дожидаясь, когда бабушка подаст жаркое, сам уже его несёт к столу.

— О! Да тут можно веселиться до утра! И сколько угодно водки можно выпить! — Это дядя Саша.

— Ох, и избаловался ты, Сашка! — попрекает его дед.

— Ну, дай бог, не последнюю! — раздражается тостом дядя Валя, хотя в ораторском деле он супротив старшего брата никак не тянул.

— А Кольке-то что не наливаєшь? — вспоминает обо мне дядя Толя. И его вопрос правильный, многие мальчишки в селе лет с десяти знали запах самогона.

— Он у нас ещё маленький, — говорит дядя Валя. И все за столом смеются: мне пятнадцать лет, и рост сто восемьдесят сантиметров. Да, уж, маленький!

— Дед, ты медовуху-то достань. Она, вроде, ещё не дошла — сладкая, шипучая.

И я пью медовуху. Она холодная — из подвала. Пузырьки щекочут язык. Ноги тут же наливаются сладкой тяжестью и словно отнимаются. Разговоры мужиков за столом приобретают для меня большую остроту и солонуватость. Они и меня вовлекают в разговор: знают, что я читаю газеты и журналы, интересуюсь политикой и историей.

Из соседней комнаты выходит бабушка. В руках, прижимая к груди, она что-то несёт, завёрнутое в тряпку.

— О! Мама! Что такое для человека мама? Это же самый дорогой человек! — Дядя Саша вытирает платком пот со лба. И он, и все за столом понимают — бабушка принесла ещё одну бутылку водки.

Как хорошо сидели мужики! И если Бог есть, то глядя на них, Он воскликнул бы: вот таких людей Я и хотел создать! И создал! А потому что только добро шло от этих людей: они жили на своей земле, и земля, словно в награду за уход и ласку, щедро кормила и поила их. И каждый из этих людей был на своём месте, каждый знал цену себе, своему труду, своим поступкам...

Мужики снова опорожнили рюмки и стали закусывать молодой бараниной. Считай, с марта и по декабрь не едят мяса сельские жители. Ну, разве петушка зарубят да побалуются мясной пищей. А тут молодая баранина да в печке млевшая! Яичница уже давно усвоилась молодыми, здоровыми мужицкими организмами, а доза сорокаградусных капель вновь возбудила аппетит до немислимых высот. Едят мясо мужики, улетають за обе щёки. И тут дядя Валя неожиданно изрекает:

— Да в гробу я видел этот город!

Все, кто сидел за столом, бросили жевать и уставились на него. Дядя Саша, обгладывая кость, сказал спокойно, будто давно ожидал этой реплики от брата:

— А я тебе про это всегда и говорю — нечего в этом городе делать!

А дядя Валя продолжал, не забывая про картошку с бараниной:

— Я у Петьки в прошлом году в гостях был, дня три, вроде, жил, и ни одну ночь нормально не спал: духота страшная, асфальт днём раскаляется и даже ночью не остывает; окно откроешь — комары или эти, длинноволосяные оболтусы, на гитарах “бацают” до утра на скамейке у подъезда, а Петька на втором этаже живёт. Я говорю ему: давай, Петьк, их разгоним на хрен. А Лорочка: не надо — они красиво поют. Тьфу! Я им говорю, как вы тут спите. Это летом, говорят, плохо спать, а зимой хорошо. Я и зимой как-то у них ночевал и тоже не спал. За стеной всю ночь музыка громко играла. Я говорю, что это за праздник у них такой среди рабочей недели, они что, на работу не ходят? А Лорочка говорит: они аппаратуру музыкальную из Англии привезли и вот слушают. А здесь у нас тишина, никто нервы не треплет английской музыкой, а если какой оболтус на гитаре будет у меня под окном бацать, я ему живо башку оторву.

— Да. В городе покоя нет, это ты прав, — подал голос дядя Толя. Он немного поел и в задумчивости курил.

А дядя Валя продолжал:

— Утром кое-как проснулись, голова болит не хуже, как с похмелья. Позавтракали по-бешеному — Петька на работу опаздывал — и пошли на остановку автобуса. Петьке на работу, а мне к тётке Лене надо было. Ну, и что вы думаете? Подходит автобус, а в него войти нет никакой возможности. Люди в дверях висят, ну, как бы вам сказать, как пчелиный рой на ветке — вот-вот свалятся, а всё прут, ещё цепляются. Автобус уж тронулся, Петька ухватился рукой за что-то внутри автобуса и побежал, потом подскочил и ногу одну просунул в автобус, другая на воздухе болтается. Акробат! Я ему кричу: Петьк, не убейся, ну её на хрен с этой работой! А люди кругом стоят, смеются. На автобус к тётке Лене я и садиться не стал — спросил, как дойти, и пешком пошёл. За два часа дошёл. Во город! На фиг мне сдалась такая жизнь!

— И всё же в городской жизни есть и свои прелести, — вступил дядя Саша и, понизив голос, чтобы бабушка не слышала, словно по секрету, выдал мужикам: — Ты вот здесь в деревне как к любовнице пойдёшь? На следующий день все будут знать — и нет, считай, семьи. А в городе куча возможностей.

Дед угрюмо молчал, дядя Толя молча посмеивался и качал головой. Это означало: прав дядя Саша.

— Не знай, тут так накана... тыришься, что не до любовниц, — дядя Валя так сказал, чтобы не потерять мужское достоинство, а на самом деле у него была красивая жена — куда от неё ходить!

— Нет, братик, не всё в городской жизни так просто, как тебе показалось.

— Ну, конечно, если ты не работяга, жить можно в удовольствие. — Дядя Толя сам когда-то был жителем города, но судьба так сложилась, что жил он теперь в деревне, — а ты ещё не видел, как Петька работает. Он же

в литейном. А там жара, как в парной. Он солёной воды за смену выпивает ведра два, да ещё и болванки раскалённые таскать надо. А они по пуду весят — не меньше.

— Вот это ни фига! А он мне особо не рассказывал про работу-то свою. Ведь это вредно для здоровья?

— Вредно!.. А без денег жить ещё вреднее. Тут у нас курорт по сравнению с литейным цехом.

— Эх, город, город! — Дядя Валя задумчиво глядит в тёмное окно. — Сашк, что задумался, о любовницах? Наливай! А что по половинке?

— “Ямщик, не гони лошадей...” — Дядя Саша всё песнями да стихами отвечал на вопросы младшего брата. — Окончание сенокоса надо как положено отметить — посидеть, поговорить, а то за полчаса выдурим всю водку. Правильно я говорю, Анатолий?

Дядя Толя стал открыто улыбаться, а то всё какой-то зажатый сидел, не то стеснялся чего-то?.. А теперь стало заметно, как хорошо и уютно ему в этой компании, что ему нравится дружеская атмосфера за столом, юмор дяди Вали и едва заметная ирония дяди Саши. Он принимался курить, но тут же гасил папиросу, — видимо, без курева он не мог, но и воздух в избе табачным дымом не хотел отравлять. Он среди мужиков один курящий: мои дяди не курили, а дед недавно бросил и курить, и выпивать. Врач в районной больнице ему сказал: будешь пить и курить — умрёшь. В этот же день дед вредные привычки оставил в прошлом. А как он курил самосад! Бывало, так зачадит на пару со сватом, не то что топор, кувалду вешать в избе можно было. Ну, и под выпивку разговорчивый был: да всё с шутками-прибаутками, да всё в рифму старался связать предложения. Приехал как-то дядя Саша зимой, сели обедать, и говорит он: вот, мол, дескать, сейчас бы жареной рыбки! На что дед тут же парировал: “Рыбки? Зенки будут притки!” Сказал бы это дед мальчишке маленькому — не смешно было бы, а тут — взрослому человеку и потому прозвучало комично.

Медовуха меня совсем расслабила и расквасила. И весело мне, но и тоска непонятная, может быть, ещё ранняя для моего возраста, вдруг тихонько заглядывала в душу. Нет-нет, да и бросал я взгляд на печку: не сидит ли там прабабка Варвара, наблюдая за нашим застольем? Ведь я в глубоком детстве частенько на пару с прабабушкой сидел на печи, свесив ноги. Мой взгляд заметил дядя Саша:

— Да, Коля, вот так жизнь устроена — никуда от неё не уйдёшь!

И он принялся разливать по рюмкам остатки водки.

Я посмотрел на бабушку, что постоянно ходила между столом и кухней, и выступил за равноправие женщин:

— А почему бабушка с нами окончание сенокоса не отмечает? Она побольше некоторых работала!

— Коля! Дорогой мой племянник! Хоть ты и большой уже стал, можно сказать, юноша, но не всё ещё в жизни понимаешь. Ты думаешь, мы тут за сенокос пьём? Нет! Это только повод. Мы тут с мужиками ритуал совершаем, таинство. Расслабляемся и после тяжёлой работы, и вообще. Вот возьми какая, не дай бог, неприятность случится: и бабушка, и мама твоя — они и поплачут, и попричитают, а некоторые городские нервные дамочки в обмороки падают. А нам, мужикам, нельзя, не положено нам слёзы лить. А нервы... у нас ведь тоже нервы! И наши слёзы — вот они где, — и дядя Саша постукал ногтем указательного пальца по бутылке. — Правильно я говорю, Анатолий?

Как самый молчаливый и задумчивый человек, дядя Толя за столом был в явном авторитете.

— А ты заметил, Сашк, Петенька никогда отпуск в сенокос не берёт. Приехал бы, помог, — поддержал разговор дядя Валя.

— И правильно делает. У него на работе, считай, каждый день сенокос, тяжёлая у него работа, — тихо, покуривая папиросу, сказал дядя Толя.

— Да это я так — к слову, — сконфузился дядя Валя и, уже обращаясь ко мне, хлопывая меня своей тяжёлой рукой по плечу, говорит: — А вот мы завтра с племянком на рыбалку пойдём. С бредешком.

— Какая тебе рыбалка! — восклицает дед и острым взглядом пытается поставить младшего сына на место. Потом начинает перечислять дела, что надо завершить до зимы.

— Эх, бать! Да эти дела за всю жизнь не переделаешь, а жизнь-то и пройдёт! — неожиданно по-философски выразился дядя Валя.

И вроде бы уж обо всём поговорили мужики: и про сенокос, и про колхоз, и про город, и про международную политику — а как же без неё! — а разговоры всё не кончаются и не кончаются. И чем меньше жидкости остаётся в светлой бутылке с зелёной этикеткой, тем сильнее желание у каждого, сидящего за столом, поделиться своим самым сокровенным и тем, что душу теребит. Вот и дядя Толя начинает неспешный рассказ о своей непростой судьбе, но чувствуется, что он всё же скрытен — всю душу нараспашку не открывает, но за намёками и жуткими фактами из своей жизни, и паузами, недоговорками чувствуется его горькая, непростая судьба...

Первым засобирился дядя Валя — семья-то его у тестя и, видно, его заждались уже там. За ним поднялся и дядя Толя.

А я пошёл в другую комнату, не раздеваясь, прилёг на кровать. Медовуха сильно меня разморила, да и устал за день.

И тут дядя Саша стал чудить. Он надел пиджак, на голову фетровую шляпу и вышел на улицу.

— Ты что, Сашк? — спрашивает его бабушка.

— Да вот, хочу сходить к Елене Павловне.

— Куда? Ты что? С ума сошёл? Скоро уж коров выгонять. Иди спи, ради бога!

— Так ведь это моя первая любовь! Говорят, овдовела Елена Павловна, одна живёт.

Тут дед не выдержал, высунулся из окна и покрыл старшего сына многоэтажным матом. Дядя Саша никак не отреагировал на выпады деда и всё стоял около дома. Я встал с кровати, чтобы поглядеть на него. Из окон шёл свет и было видно: дядя Саша стоял прямо, он как-то старательно выпрямлял спину и смотрел в ту сторону села, где, по его словам, жила сейчас одиноко его первая любовь. Дядя улыбался с сожалением и лёгкой грустью. И что меня удивило: под мышкой он держал кожаную деловую папку для бумаг. Я подумал: для солидности решил прихватить. Чем закончилось это намерение моего дядя, я так и не узнал: снова лёг на кровать и провалился в глубокий сон. А когда проснулся, дяди Саши уже не было — на попутной машине он уехал домой в райцентр.

Вот этот день мне надолго запомнился — день завершения сенокоса в семье деда. А теперь нет прежних сенокосов в селе. Тяжёлый это труд — сенокос. Может, и правы те, кто говорят: слава богу, больше спину не ломаем. Я, наверное, соглашусь с ними. И всё же вместе с сенокосами что-то ушло из жизни человека. То, что селян объединяло: ведь вместе делили паи, рядом, бок о бок, косили и убирали сено, бывало, и помогали друг другу. Нету этого теперь. Все по избам сидят и телевизор смотрят. Сейчас телеприём хороший — никаких метелей на экране. И американские танки уютжат арабские пустыни так, что пыль столбом, и нет там никакого снега...

А мне жаль, что ушли в прошлое сенокосы.

На рыбалку с дядей Валей мы всё же через день сходили. Вернее, съездили на его мотоцикле. После обеда мы взяли небольшой бредень и поехали за село вниз по реке, туда, где большие омуты и ямы, где большая рыба водилась. Я с собой позвал друга Женьку. Мы с дядей Валей тянули бредень, а Женька стоял на перекате и ботал — пугал рыбу, чтобы она за перекат не ушла. Наловили много больших пескарей и с десяток голавлей и язей, не шибко больших, но и не маленьких. После рыбалки дядя Валя по-честному разделил улов на три равные части. А перед тем как ехать домой, интригуяще сказал:

— А сейчас мы улов отметим! — и достал из мотоциклетной люльки сумку.

— Вы уж, чать, не маленькие, пора к мужским делам причучаться.

На свет появилась бутылка с красивой этикеткой. На этикетке был нарисован красный перец. Это была “Перцовка” — алкогольный напиток

28 градусов. В качестве закуски дядя Валя прихватил несколько кусков варёной курятины, хлеб, огурцы и варёные куриные яйца. Бутылку он предложил выпить разом в один приём и, достав три гранёных стакана (всё ведь предусмотрел), разлил напиток.

— Вы дурью не глотайте, но и не тяните, не принохивайтесь, — учил нас дядя.

Жидкость сначала обожгла пищевод, а после по всему телу, по каждой клеточке организма разлилось тепло.

— Что? Хорошо? Чтобы не простудиться, “Перцовка” — это первое дело. Мы стали поедать привезённую дядей снедь.

— Ну как? Не захмелели? Вы дома не рассказывайте, что я вас тут спивал!

Мы втроём сидели на берегу реки, на мягкой зелёной траве. Вдоль реки тянулась гряда высоких гор. Я лёг на траву и стал смотреть на синее небо. Боковым зрением я видел горы и лес на горах. Они вдруг тронулись с места и стали тихонько мимо меня двигаться. И так мне стало хорошо! Я закрыл глаза и почувствовал, что сам я тоже стал двигаться вместе с горами и лесом. Или это я почувствовал вращение Земли?..

БЕГИ, ДЕД, БЕГИ!

Летний дождь! Какая радость после жарких, изнуряющих, сухих дней! Радость людям, животным, растениям. Даже рыба, на что живёт в воде, и та дождю рада — сколько корма всякого для неё смоят в речку дождевые воды.

Я далеко не молод, но хорошо ещё помню “правильные” летние дожди, когда после потока вод с небес снова появлялось на чистом синем небе жаркое и яркое солнышко, а тёмная туча уходила к горизонту и уводила за собой гром и тёмно-красные вспышки молний.

А теперь после дождя день-другой пасмурно, холодно, сыро и неудобно.

Мне было десять лет. Стояло жаркое сухое лето. Наше село и другие окрестные сёла и деревни ждали дождя. Уж больше месяца прошло, а с неба ни капельки влаги не упало на землю. И вот неожиданно, словно из ниоткуда, появилась большая дождевая туча. Все домочадцы сидели в деревенской избе, с испугом и радостью слушали уханье грома и ждали, когда пойдёт дождь. Женщины искренне повздыхали о тех людях, которых гроза может застать в чистом поле.

Дождь полил с такой силой, что не стало видно домов соседей. Но через десять минут туча ушла, и снова выглянуло яркое июльское солнце. От нагретых солнечными лучами луж стал подниматься к небу пар. Все взрослые, что были в избе, принялись вспоминать, каким они запомнили свой первый летний дождь.

Дед мой тоже рассказал про свой дождь. Было ему в ту пору шесть лет. Сначала дождевые ручьи едва не смыли его в речку, да мать спасла, а потом уж, как дождь прошёл, бегал он по тёплым лужам и что-то кричал от радости.

Тогда я услышал эту историю как обычное воспоминание о годах детства, о которых, наверное, каждый сожалеет, что они уж больше не вернуться. А много позднее, когда и деда-то не стало на белом свете, вспомнив его рассказ, растрогался донельзя. Почему? Он рассказывал, как совсем маленьким бегал по лужам. А дед-то мой уже тогда был без ноги. Левую ногу чуть ниже колена раздробила колхозная молотилка. В том году в наших краях выдалась хорошая для земледельцев весна. Прошедшая зима была снежной, и земля вобрала в себя много влаги. После схода снега скоро подсохла пашня, и крестьяне быстро отсеялись. В конце мая выпало несколько дождей коротких, дружно взошли зерновые. Крестьяне радовались — в этом году будем с хлебом! А значит, всего вволю: и караваев-пирогов, и мяса, и самогонки. И праздники будут хмельными и весёлыми.

Но за весь июнь ни капли не выпало с неба. Огороды-то поливались — рядом река протекала, — а вот зерновые в полях начали хиреть, жухнуть.

Земле нужен был дождь! Позарез нужен! Уж и поп ходил с народом к большому роднику просить у Бога дождя, а всё без результата.

— Зря людей в заблуждение вводите, — говорил попу земский учитель, — барометр постоянно показывает на ясную погоду, и его стрелку жеребцом не сдвинешь.

— Да знаю я про твой барометр! — в сердцах отвечал батюшка. — Но ты сам подумай — это же немислимо: в соседних уездах прошли дожди, а у нас ну хоть бы капелька с неба упала!

Несмотря на юный возраст, дед мой помнил тревогу и растерянность своих родителей в начале того лета. Не будет хлеба — голод, а может, и смерть. У родителей помимо Ганьки — так деда моего звали — ещё двое детей имелось: сын трёх лет и дочка — той и года не исполнилось, материнским молоком питалась.

Днём жара стояла невыносимая, и сельские ребятишки с утра и до ночи из речки не вылезали. И дед мой на мелководье купался — плавать ещё не умел. Мать его этих купаний боялась — а вдруг поскользнётся на покато-м глинистом дне и в глубину уйдёт? Были такие случаи. Но разве в такую жару удержишь мальчишку от речки?

А солнце всё сильнее и сильнее раскаляло землю. Уже и ночью не наступало прохлады. Не только люди, но и домашняя скотина заволновалась. Лошадей и коров донимали слепни и доводили до бешенства, кошки и собаки бегали, как маленькие скелеты.

И спохватился, наверное, Господь: зачем я испытываю эту землю, чем провинились пред небесами эти трудолюбивые мужи и жёны? И вот в самый обычный день, в полдень, вдруг как-то по-особенному стало жарко. Жарко, как в бане, когда на каменку водой плеснут, — вроде пар сухой, но и влага чувствуется.

— Да, парит! — говорили промеж собой селяне, с надеждой глядя на безоблачную муть синего неба. И втайне надеялись на дождь, но вслух об этом никто не говорил — боялись сглазить. И не зря надеялись. Из-за дальнего леса, что располагался за широким зерновым полем, на село стала двигаться туча. Сначала она имела вид бесформенной пепельно-серой массы, занимающей весь горизонт. А через некоторое время, почти незаметное для глаз, произошло превращение бесформенной массы в густое чёрно-синее облако. Стали видны изломанные линии вспышек молний, и вдоль долины реки уже доносился звук их разрядов. Загромыхало!

Начались сильные порывы ветра, влажного, сырого. Подставишь лицо этому ветру — и словно кто водой прохладной на него плеснёт. С шумом прижималась к земле трава, воздушные струи рвали ветви деревьев и кустарников, что росли вдоль реки. Куры и гуся с кудахтаньем и гоготом, помогая своим ногам крыльями, устремились под навесы.

С сенокоса, погоняя лошадей, громыхая телегами, спешили под кров своих изб мужики и бабы, а также их помощники — подростки ребятишки, старики, которые ещё в силе. Только лошадь под ноги и смотрела, а люди поднимали глаза к небу и тёмной туче радовались.

— Не зря вчера учитель говорил, что прибор его мудрёный на дождь показывает, — говорили одни.

— Это всё с молитвы, — говорили другие.

Наверное, и те, и те были правы — кто их разберёт, эти природные законы, не человеком задуманные.

Сначала крупные одиночные капли упали на землю, на пыльной дороге поднимая маленькие серые взрывы. Затем на какое-то время всё вдруг стихло: и капли перестали падать, и ветер стих. Но люди-то знали, что означает это затишье.

И упал на истрадавшуюся от месячного зноя землю летний проливной дождь! Снова затарабанили о пыльную дорогу большие редкие дождевые капли. Но теперь с каждым мгновением их становилось всё больше и больше, и словно кто-то невидимый сильной своей рукой открыл на небе большую занавеску — сверху водопадом обрушилась на землю долгожданная влага.

Задержавшаяся во дворе старушка древняя подняла к небу тонкие сухие руки и прошептала со слезой в глазах:

— Слава Те, Господи...

Дети тут же выбегали на улицу и, поднимая к небу руки, кричали:

— Дождик, дождик! Пуще! Пуще! Дам тебе я гущи!

И дед мой Ганька тоже выбежал. Матери не спросился. И тоже кричал дождю со всеми ребятишками, и радовался. Мать хватилась:

— Ганька-то где?

— Где?! Небось, на улице стервец! — незлобно выругался отец.

Был отец у Ганьки молодой, но уже степенный, знающий себе цену мужик. Пovyше среднего роста. Аккуратный, подтянутый. Если, случалось, выпьет самогонки лишку — не буянил и не дурачился, на пример некоторых деревенских мужиков, а как-то загадочно и хитро улыбался самому себе.

Выругался незлобно отец и снова спокойно в окно смотрел, а мать извела вся: окно открыла и через завесу дожда, увидев своего сына, закричала:

— Ганька, а ну домой! Уши оборву! — но не смогла перекричать грохота грома и шума ливня. А вода дождевая по улице меж домов потекла рекой мутной — не успевала земля впитывать её всю. Ребятишки, кто постарше, быстро сообразили себе развлечение — они бросались в эту “реку” и, бултыхая руками и ногами, плыли по течению. А Ганька плавать не умел — маленький ещё был.

Выбежала мать из избы под дождь, зачем-то платок второпях на голову повязала — он через мгновение мокрым стал. Ганька увидел мать и первым метнулся домой, забежал в избу и в закуток забился.

— А что, всем можно, а мне нельзя? — захныкал, предвидя экзекуцию.

— Сиди у меня! — только и пригрозила мать.

Платье мокрое передела и снова к окну — на дождь смотреть. Отец молчал. Что тут скажешь? Всем можно — нынче праздник! Мать что-то продолжала выговаривать Ганьке, но чувствовалось, что из глубины души, от сердца радость и теплота шли с этими словами. Любила она своего первенца и радовалась, что ничего худого не случилось с ним. И дождю радовалась.

Долго падала влага с небес, вдоволь напоила землю; вздула ручьи и речку, протекли соломенные крыши крестьянских изб. Туча дальше пошла — как раз на то село, откуда поп приезжал: надо же было Господу и батюшкины старания как-то оправдать, и веру его в слово сокровенное упрочить. А то возвеличится учитель земский, возгордится наукой своей, а не всё у человека по науке выходит.

Как ушла туча дождевая, так сразу и солнышко показалось. Да так ярко и яростно засияло, словно обрадовалось, что из заточения вырвалось. И получаса не прошло — лужи посреди села так нагрелись, что от них пар густой к небу стал подниматься. Вода дождевая в лужах тёплая стала. Как парное молоко. Вот уж радость детям! Стали бегать они по лужам — брызги во все стороны от них летели — и кричать от радости.

И дед мой, Ганька, тоже не удержался. Не спросясь родителей — видел, добрые они сегодня — шмыгнул из закутка и снова на улице оказался. Вместе со всей ребятнёй тоже по лужам стал бегать.

...И теперь, спустя почти сто лет с того дня, представил я зримо, как маленький мальчик, босой, в коротких штанишках и в домотканой рубашке навыпуск, с радостным криком бегаёт по тёплым лужам дождевым, что между избами деревенскими тёплый пар в небо пускают. И этот мальчик — будущий мой дед. И было это в далёком теперь июле 1914 года. Ганька бежал по тёплой дождевой воде, нарочно высоко не поднимал ноги, чтобы побольше брызг было за ним — неуёмным озорником. Шлейфом нестойким взвиривалась за ним вода миллионами брызг, образуя на короткий миг разноцветную радугу.

И как мне хочется через года, да что там года — столетие, крикнуть:

— Давай, дед, беги!

Радуйся дождю, солнцу, детству своему радуйся! Беги, пока не устанешь, а устанешь — всё равно беги!

Пройдёт совсем немного времени — и месяца не пройдёт — и всё изменится в жизни вашей семьи, в твоей жизни, дед. Начнётся империалистическая война, и заберут твоего отца в солдаты, и пойдёт он на фронт немца воевать. И будет плакать мать, а за ней и вы — все её дети будете рыдать, не понимая, почему мать слезами умывается. Но раз мать так плачет, значит, совсем плохо... Вместе с матерью впряжешься ты в тяжёлую мужицкую работу — кто же о вас позаботится? Конечно, не кончились совсем уж твои ребячьи забавы, но больше по лужам ты не бегал.

С той поры сохранилась фотография. Почему я думаю, что “с той поры”? На фотографии — три женщины и три их сына. Женщинам лет по двадцать пять, сыновьям по семь — восемь. А мужей нет на фотографии — на фронтах Первой мировой они, бьются, не щадя живота своего, за царя и отечество.

Твоя мать в центре стоит: красивая, спокойная и статная. Её стать не от гордости, не от мнимого величия, а от радостного сердца и спокойного ума. Ты, дед, стоишь впереди неё с книжкой в руке. Взгляд твой сосредоточен и умён. Это взгляд и мальчишки, но и уже мужчины. И мужественности тебе придают, — я думаю, что и тебе так казалось, — большие блестящие отцовские сапоги, что ты обул для торжественного мероприятия — фотосъёмки. Сапоги велики тебе сверх меры. Голенница их на четверть выше твоих коленок.

Но всё это будет не сейчас. А немного позже. Но пока ещё твоё время!

Беги, дед, беги! Взвихривай брызги до небес, как на невидимой верёвке тани за собой радугу!

Мать твоя надорвалась от непосильного труда, и, не выдержавши нужды, безнадеги, разорвалось её тревожное сердце. Умерла мать в начале декабря семнадцатого года. На улице холод, ветер и грязь непролазная. А в ночь перед похоронами выпал долгожданный чистый белый снег.

— Значит, душа у твоей мамки светлая была, — говорили Ганьке односельчане на похоронах.

Отец матери — дед твой — сказал: “Собирайтесь, внучата, к себе вас заберу”. А значит, переезжать за пятьдесят вёрст, в соседний уезд. Но переезда не потребовалось. На следующий день после похорон матери пришёл с войны отец Ганьки. Три года не было от него вестей. Уж как они его ждали — и дети, и жена! И сейчас, как только увидел Ганька отца своего в дверях, кинулся к нему, схватил руками его холодную с мороза шинель и так расплакался — не уймётся никак. Как будто всё выплакать хотел разом: и нужду, и обиды, и, главное, мамкину смерть — силился он на похоронах, не плакал. “Мужики не плачут”, — про себя говорил.

Отец похлопал его по спине, в избу прошёл, за стол сел. И увидели дети, что хмурый их отец, недовольный, неуютный — не родной какой-то. Они ласки от него ждали, улыбок; думали — поплачет он по жене своей, уж как она его любила и ждала! Но и по жене не поплакал отец, и детей своих не приласкал, не приголубил. Посидел за столом, помолчал. Потом вышел во двор, оглядел оскудевшее хозяйство и по селу пошёл. Ночью вернулся пьяный. Спать на печку лёг. Поворчал: почему плохо протоплена.

На следующий день гости в их дом заявили — сельские мужики. Ганька на краю печи лежал вместе с сестрой и братом — слушали и смотрели с любопытством, как мужики самогонку пили, самосад курили и беседы вели. Сперва мужики у отца спросили: где воевал, в каких частях, какое настроение сейчас у солдат, будет ли мир с германцем, что про землю говорят?

Отец неторопливо скрутил сигарку, закурил, взглянул на мужиков исподлобья и с полу-усмешкой сказал:

— Да я, можно сказать, и не воевал. В плену немецком был.

Ну, тут мужики стали его жалеть: издевались, мол, там над тобой, и всё такое прочее. А отец сидит довольный и чуть не со смехом говорит:

— В таком плену я бы на всю жизнь остался! В батраки меня определили к одной молодой немке, а я с ней, мужики, как с женой жил.

Мужики примолкли. А отец окинул высокомерным взглядом застольников и говорит:

— Вам такой бабой, мужики, вовек не владеть!

И стал говорить такие срамные слова, что Ганька уши закрыл ладонями. Жалко было мать, стыдно было слушать отца. Ненавидел он его в эту минуту и мужиков пьяных, что гоготали, ненавидел. Невзлюбил с того дня Ганька отца своего.

А вскорости привёл отец в дом новую жену — детям велел её мамкой называть. И не стало тепла в этом доме. Как только пошёл моему деду восемнадцатый год, сосватал он в соседней деревне девушку (мою будущую бабушку) и ушёл в её семью “примаком”. А в той семье людей-то много, да все женского полу. Из мужиков только мой дед да тесть его.

Случалось, я спрашивал у деда: как жилось при царе, при нэпе, а дед отвечал, что, кроме работы крестьянской, в ту пору ничего не помнит...

Тут вскоре стали колхозы организовывать. Механизмы всякие в селе появились. Один такой механизм и отрезал у деда левую ногу. Вернее, измочалил её донельзя чуть ниже колена. На тарантасе (дело было летом) приехал доктор из района. Привёз медицинскую пилу и анестезию — чистый спирт. Выпил дед стакан спирта и от “радости” стал вить дико, пока доктор пилой орудовал...

Как тебе, дед, ногу-то отрезали — взревела семья. Тесть к тому времени едва ходил — отнимались ноги, а у вас с бабкой потомство: четыре сына. Старшему семь лет, а младший два месяца назад родился. Старший сын — это мой дядя. Старший брат моего отца. Дядя рассказывал, какое горе свалилось на вашу семью. И ты, дед, лежал со слезами. Было тебе всего двадцать пять лет.

Приободрил доктор из района. Он приезжал через две недели. Сказал, что рана хорошо зарастает, и пообещал заказать деду хороший протез в городе:

— Как с родной ногой будешь бегать!

Не стал дед ждать протеза. А мастерил себе из лёгкого дерева — сухой осины — деревянный костыль, и через месяц ходить приспособился, и работу домашнюю, что на нём была, стал всю делать, боль превозмогая...

Вспоминаю я, дед, как мы с тобой траву косили. Мне было десять лет, а тебе уже шестьдесят доходило. И косили мы в самую жару. Сенкосный пай наш в редком ельнике. Кругом лес — и ни ветерка. Ёлочки были ещё маленькие. А между ёлочек высокая трава. Но жёсткая — подсыхать стала на корню. Плохо шла коса. Умаялись мы с тобой, дед! В траве и не заметишь кочки земляные — их землеройки наделали. Задел ты, дед, своим костылём за кочку и не удержался — упал. Я к тебе подбежал, поднимать стал, а ты мои руки отстранил — сам встану. Лицо у тебя мокрое от пота, он ручейками грязными к шее стекал. Но разглядел я в твоих глазах и другую влагу — прозрачную и хрустальную. Хоть я и маленький ещё был, понял я, дед, почему у тебя на глазах эта влага появилась. Но только влага. На лице ни один мускул не дрогнул, чтобы твои чувства обозначить. Ах, как стало мне тебя тогда жаль, дед! Чуть не расплакался. Удержался. Это сейчас пишу, вспоминаю и плачу...

— Ты посиди, дед! Я один докошу, — уговаривал я тебя.

А ты поднялся с земли, костыль подправил, крепко сжал в своих сильных руках косу, острым взглядом посмотрел на остаток нескошенного пая и твёрдо сказал:

— Ничего! Айда! — и опять замахал косой.

И не траву ты уж косил, дед, ты свою беду косил, что никакой ты не калека, а работающий, крепкий мужик. А я шёл за тобой. Не отставал. Не имел я права отставать. И видел я, как разболтался у тебя костыль, как тяжело ты припадал всем телом на левую сторону, но всё равно махал и махал косой...

А вечером дома, когда ты снял тряпку-обёртку с колена левой ноги — колено упиралось в костыль — мне страшно стало: всю кожу на колене ты содрал до мяса. Одеколоном стал обгирать колено и мычал от боли. А потом лёг на кровать, обнажив свою культю, и молча в потолок смотрел.

На следующее утро смазал колено вазелином, снова тряпкой обмотал. Бабушка говорит:

— Ты что, Ганьк, с ума сошёл? Куда тебе с такой ногой! Сиди!

Дед бабушку не послушал, а мне сказал:

— Собирайся, Кольк! Кто за нас косить будет?

И послал меня к соседу дяде Лёше — тот должен был на лошади ехать на свой пай, а это рядом с нашим. Выехали поздно, почти в полдень. Опять жара невыносимая. Ещё не доехав до сенокоса, увидели — туча большая на-двигается, полгоризонта заслонив. Дед настаивал ехать на пай, но сосед повернул лошадь домой. Под гору до дома быстро доехали. Только в избу вошли — дождь пошёл.

Вот тогда, дед, я и услышал, как ты по лужам шестилетним мальчишкой бегал; и не придавал я особого значения твоему рассказу. Я уже говорил, почему. А может, кто-то более интересную историю рассказал. Но её я не помню, а вот твою историю вспомнил.

Вспомнил, когда в жаркое прошлое лето ливень наблюдал из своей квартиры, что на десятом этаже дома городского находится. Смотрел я на дождь и ни о чём не думал. И вдруг в память ворвался летний дождь моего детства и ты, дед, со своим рассказом. И словно каким ветром перенесло меня сначала на пятьдесят, а потом на сто лет назад. И до самых родовых глубин поразил меня твой, дед, рассказ, как ты маленький под дождём бегал.

На тебя небесная благодать лилась, как из ведра, чтобы ты, тогда ещё молодой росточек, быстрее рос и силы набирался. Рос на радость родителям, жене своей будущей и всему твоему потомству. И не зря ты бегал под дождем, умываясь влагой небесной, что послал тебе Господь, — сохранил ты до конца дней своих и умудренную голову, и радость в сердце, и любовь к близким и родным тебе людям...

Придумали люди закон про скорость света. Вот если бы я, дед, сумел оказаться на далёкой-далёкой планете, свет от которой идёт до нас сто земных лет, то, глядя оттуда в мощный телескоп на тебя, маленького Ганьку, бегающего по лужам, не удержавшись, крикнул бы во всю силу с таким жаром и чувством, что разнеслось бы по Вселенной:

— Беги, дед, беги!

Фантазии это всё мои. Далек сейчас ты, дед. Где-то в неизмеримом пространстве и бездонном колодце времени. А если проще сказать: высоко-высоко над землёй, в занебесной вышине душа твоя.

И я, широко распахнув балконное окно, пьяный то ли от дождя, то ли от нахлынувших воспоминаний, высунув голову под дождь, захлёбываясь прохладными струями, кричу тебе в небеса:

— Беги, дед, беги!

Я верю — ты слышишь меня, дед.